



А. Н. ПЫПИН

Мои заметки

<...> Мои детские воспоминания связывают в одно целое две семьи: одна семья была дворянская, по моему отцу; другая была семья Чернышевских — священническая; матери двух семейств были родные сестры, и первые годы моего детства проходили безразлично в этих двух семьях. Моя мать, Александра Егоровна, и моя тетка, Евгения Егоровна, мать Н. Г. Чернышевского, были дочери саратовского священника Голубева. Он умер, кажется, задолго до моего рождения ¹; я не слышал каких-нибудь упоминаний о нем; но я довольно хорошо помню бабушку, его вдову, — как теперь припоминаю, это была типическая суровая женщина старого века ². По-видимому, Г. И. Чернышевский (отец Н. Г.), женившись на его дочери (старшей), стал преемником его в церковнослужении ³. Наследством от него остался довольно большой участок земли, спускающийся от Сергиевской улицы вниз к Волге, где было два небольших дома и несколько флигелей и домиков: одни были заняты двумя нашими семьями, другие отдавались внаймы. Моя мать была во втором браке за отцом; от первого брака осталась дочь, которая была, кажется, ровесницей Н. Г. Чернышевскому и была любимой подругой его детства (после второго брака моей матери она жила в семье Чернышевских); впоследствии она вышла замуж за И. Г. Терсинского и умерла в Петербурге — кажется, в 1852 г. ⁴

Обе семьи жили очень дружно. Н. Г. Чернышевский был старше меня лет на пять; но я мальчиком уже принимал некоторое участие в его играх и забавах, и он был для меня как будто старшим братом. В этих забавах он был и предприимчив, и изобретателен; разница лет делала то, что он бывал и моим руководителем. Это повторялось и тогда, когда я начал учиться.

Г. И. Чернышевский был во времена моего детства уже человек весьма известный в городе. Он занимал положение благочинного, и я помню его всегда занятым по этой службе, где он был посредником между духовенством и архиерейской властью.

Родом он был из Пензенской губернии (из села Чернышева Чембарского уезда); учился в Пензенской семинарии, где окончил курс в то время, когда пензенским губернатором был Сперанский. Когда Сперанский назначен был генерал-губернатором в Сибирь, он хотел взять с собой в качестве ближайших чиновников кого-либо из лучших молодых людей, окончивших курс в семинарии; ему назвали Г. И. Чернышевского и К. Г. Репинского, — но первый, кажется, усомнился отправиться в далекое путешествие, а Репинский поехал, и отсюда началось его служебное поприще, завершившееся впоследствии сенатом ⁵.

Г. И. Чернышевский в пределах его школы, и даже дальше их, был человек образованный и начитанный. Мне привелось впоследствии видеть его семинарские тетради, и в числе обычных сочинений были латинские и греческие стихи; до моего поступления в гимназию ⁶ у него я получил первые уроки французского языка. В его кабинете, который я с детства знал, было два шкафа, наполненных книгами: здесь была и старина восемнадцатого века, начиная с Роллена ⁷, продолжая Шрекком ⁸ и аббатом Милотом ⁹; за ними следовала «История Государства Российского» Карамзина; к этому присоединялись новые сочинения общеобразовательного содержания: «Энциклопедический словарь» Плюшара, «Путешествие вокруг света» Дюмон-Дюрвиля, «Живописное обозрение» Полевого, «Картины света» Вельтмана и т. п. Этот последний разряд книг был и нашим первым чтением. Затем представлена была литература духовная: помню в ней объяснения Филарета на Книгу Бытия ¹⁰, книги по церковной истории, собрание проповедей, мистические книги.

Наконец (я говорю о времени около моего поступления в гимназию), к нам проникала новейшая литература. Г. И., очень уважаемый в городе, имел довольно большой круг знакомства в местном богатом дворянском кругу, и отсюда он брал для сына, Н. Г. (с детства жадно любившего чтение), новые книги, русские, а также и французские: у нас бывали свежие томы сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, некоторые журналы... ¹¹

Мой отец происходил, кажется, из довольно старого, но мелкопоместного дворянского рода. Дед, давно уже перед тем умер-

ший и о котором я слышал только немногие упоминания, служил некогда в тамбовском наместничестве, между прочим, при Державине, и там был помещиком; более отдаленные предки были также из служилого дворянства. Затем небольшие тамбовские владения были проданы, и семья (у отца было несколько братьев и сестра) переселилась в Саратовский край, где были приобретены другие небольшие владения. Для людей этого круга существовало, конечно, одно поприще — служба, насколько возможно соединяемая с земельным хозяйством. Мой отец и его братья служили по разным ведомствам в Саратове или по дворянским выборам в своем уезде. Так, вскоре после моего поступления в гимназию отец на много лет переселился на эту службу в уездный город¹²; я остался, конечно, в Саратове для гимназического учения и жил у Чернышевских. Склад характера моего отца был в полной мере старосветский. Родившись в начале XIX-го столетия, он учился только дома, как было тогда в большинстве мелкого дворянского круга, рано поступил на службу, занимал мелкие должности, конечно, по-тогдашнему, и с очень небольшим жалованьем, так что, сколько я припоминаю с детства и как видел потом, наш домашний быт велся на очень скромные, даже скудные средства. Подспорьем была маленькая деревня¹³. Прислуга (в том числе и у Чернышевских) была наша крепостная; по зимам из деревни (верстах в восьмидесяти от Саратова) крестьяне привозили разные домашние запасы, и приезд «наших мужиков» был для меня в детстве большим интересом: я еще не видал никакой «деревни». «Мужики» бывали ласковы к барчонку; такими я видал их и после, когда приезжал с отцом в «деревню» на каникулах, во время службы отца в уездном городе. Отношения были вообще дружелюбные: отец, сам выросший некогда в деревне, знал крестьянский быт сполна, знал крестьянскую работу и крестьянскую нужду; по характеру он был простой, добрый человек, и крестьяне относились к нему с полным доверием. Старейший из наших «подданных», которого я и теперь помню, Иван Мосол, знавший отца еще ребенком, относился к нему и теперь с добродушной простотой, как старый дядька. Когда мне в первый раз привелось прожить несколько времени с отцом в деревне, во время летних работ (я был тогда, вероятно, в третьем или четвертом классе), для меня в первый раз открылся этот особый круг жизни, насколько я мог его понять, — с его рабочими интересами и работами, с особым складом всего обычая, с

его представлениями о природе, повериями и суевериями. Это последнее было, впрочем, знакомо мне и гораздо раньше. С тех пор как себя помню, я был уже знаком до некоторой степени с запахом деревенских представлений: две наши няни (одна — уроженка саратовская, другая — воронежская) обладали большими знаниями в области сказок и поверий: впоследствии я напрасно искал в сборниках наших сказок несколько удивительных эпизодов, отрывочно сохранившихся в моей памяти из этих повествований. Сказки были оригинальны, цельны и, как потом я мог судить, прекрасно выдержаны в эпическом тоне, сохраняя весь традиционный способ выражений и, где нужно, свой речитатив и пение... Деревенские разговоры, конечно, были пересыпаны элементами эпического поверья... Эти патриархальные отношения сохранились потом надолго, можно сказать, до сих пор. При освобождении крестьян (которое, между прочим, очень сократило наши владения) бывшие крепостные обращались к старому барину за советами в их новом положении, не всегда этим советам следовали, полагая, что сами рассудят лучше, но потом не раз убеждались, что совет был подан верно. Долго спустя, уже «свободные», наши прежние «мужики», приезжая в Саратов, прямо останавливались в доме старого барина, полагая себя как будто дома.

Но уже тогда, в моем раннем детстве, передо мной мелькали уже, конечно, мало сознаваемые, но, тем не менее, производившие тяжелые впечатления другие стороны этого патриархального быта, — именно мрачные картины насилия, жестокости, подавления личного и человеческого достоинства. Случалось слышать, а иногда и самому видеть проявления крепостного произвола. Старшее поколение, мирное и доброжелательное, не видело в крепостном праве никакой несправедливости по существу: крестьяне не могли обойтись без опеки, — и действительно в тогдашних условиях помещик закрывал крестьян от другого постороннего произвола; в трудную пору, когда случится неурожай, помещик обязан был заботиться о том, чтобы помочь, сколько можно, крестьянской беде, — так это у нас и бывало. Но старшее поколение не скрывало от себя, да и от нас, младшего поколения, что бывают, к сожалению, большие и дурные злоупотребления, но они приписывались дурным личным свойствам того или другого помещика. Помню, отец говорил мне и указывал, где в нашем деревенском соседстве помещик был убит своими крестьянами; факт был преступный, но и помещик

был виноват. Потом случалось слышать о других происшествиях подобного рода, о жестокостях помещиков, о бунтах крестьян; раз мне привелось видеть самую «торговую казнь» — наказание кнутом.

В ранние отроческие годы привелось мне видеть другую мрачную сторону прежнего народного быта, которая произвела на меня очень тяжелое впечатление и которой, к счастью, уже нет с эпохи реформ, по крайней мере, в такой вопиющей форме. Это — рекрутский набор и тогдашнее страшное солдатское учение. Долгий, двадцатипятилетний срок солдатской службы большею частью почти всегда вырывал человека из семьи на весь век. Перед рекрутским присутствием собиралась толпа народа, в которой невыносимо тяжело было зрелище женщин, матерей. Я помню один случай, о котором тогда говорили в городе, что одна мать, сыну которой «забрили лоб», пораженная горем, умерла на месте. Помню обычай отчаянного (именно с отчаяния) пьянства тех, кому неминуемо предстояло идти в солдаты и которым предоставляли и давали средства к последней беспшабашной гульбе, которая помогала пережить последние дни уходящей свободы... Перспектива солдатской жизни была налицо, в городе стоял какой-то полк; на плацу всенародно происходили учения, а тогдашние учения, так усиленно занимавшиеся маршировкой и ружейными приемами, неизменно совершались с помощью палок, и воин, за которым оказывалась малейшая неисправность, тут же всенародно подвергался экзекуции. Зрелище замечательно гнусное.

Приходилось, как я упоминал, слышать о тяжестях крестьянской жизни, приводивших к так называемым бунтам... Только недавно, несколько лет назад, мне пришлось познакомиться ретроспективно с характером того времени, в котором прошло мое детство и отрочество, в 1890 году друг моей гимназической поры Д. Л. Мордовцев, который в пятидесятых годах служил в Саратове, — кажется, в качестве статистика и редактора губернских ведомостей ¹⁴, — издал книгу «Накануне воли». Книга составила таким образом: в то время, в пятидесятых годах, поднят был в Саратове вопрос об очистке местных архивов, другими словами, о массовом уничтожении старых «ненужных» дел. Д. Л., который прошел уже университет и вел дружбу с Н. И. Костомаровым, доживавшим тогда последние годы своей ссылки в Саратове ¹⁵, питал исторические интересы, особенно интерес к народно-бытовой истории, знал цену архивных

документов и успел спасти большую долю «ненужных дел» от уничтожения. Он извлек из них обширный материал, из которого и составила упомянутая книга. Архивные бумаги губернского правления именно заключали в себе целый ряд дел о крестьянских бунтах (прежде всего, простых мирных жалобах крестьян к высшему начальству на невыносимые жестокости многих помещиков, — жалобах, которым помещики и однородные с ними чиновники давали квалификацию бунтов). К сожалению, книга Д. Л. Мордовцева не увидела света: по решению особого совещания министров она была уничтожена¹⁶. Но это был исторический материал величайшего интереса, материал в своем роде единственный в нашей литературе: этот материал представлял одно из наглядных и поражающих доказательств необходимости освобождения крестьян, одно из простых и разительных объяснений того нравственного возбуждения, на какие опиралась, особенно в молодых поколениях, лихорадочная жажда преобразования. Книга Д. Л. не имела никакого публицистического намерения: это — простой сборник дел, производившихся в губернском правлении и доходивших иногда до Третьего отделения Собственной канцелярии и до высочайшей власти. Сборник чисто документальный, иногда даже сухой, но по существу дела это одна из самых страшных книг, какие являлись в нашей литературе. Читая ее в эти последние годы, я находил в ней много знакомых имен, какие слышал в местных рассказах и легендах сороковых годов: для меня становились ясны фактические источники этих рассказов и легенд.

По таким рассказам я знал еще об одной стороне тогдашнего народного быта. В безвыходном положении, в каком находилось крестьянство, в крайней темноте умов, среди него возникали периодически самые невероятные, фантастические слухи о каких-то благословенных землях с молочными реками и кисельными берегами, по крайней мере, с полным простором, где можно было занять сколько хочешь земли без податей, без помещиков и начальства. Эти блаженные страны находились на Дарье-реке; впоследствии они были перенесены народным воображением в Анапу, около которой будто бы раздавалась земля всем желающим. Никакие убеждения помещиков и начальства не действовали; им просто не верили, и толпы крестьян с женами и детьми, нагрузивши на телеги свой скарб, покидали деревни и отправлялись на поиски желанных земель; многие успевали уходить до-

волью далеко, — земская полиция их ловила и возвращала на прежнее место. В наших небольших владениях были также семьи, которые «бегали в Анапу». Бывало и простое единичное бегство, даже без особенных причин, из простой потребности личной свободы: бегали особенно в «Одесту», которая, как портовый город, давала работу и, кажется, до сих пор остается прибежищем для беспаспортных искателей свободы и приключений.

Возвращаюсь к нашей домашней жизни. Как упомянуто, в нашей семье сравнительно были очень развиты литературные интересы. Мать моя и тетка (ее старшая сестра) чрезвычайно любили чтение; новые книги переходили из рук в руки, в числе их бывали журналы; в первых классах гимназии я знал «Отечественные записки» и очень сокрушался, что не все мне было понятно, например, статьи писателя Искандера¹⁷; мать успокаивала меня, что для меня это еще рано читать и что я скоро буду понимать все это...

<...> Г. И. Чернышевский (отец) был по своему времени и кругу человек ученый¹⁸. Н. Г. долго учился дома, и его видимые успехи обращали на себя внимание даже людей мало опытных. Я помню, еще бывши в первых классах гимназии, что он уже читал французские книги. Вероятно, не без влияния его примера учили и меня: еще до поступления в гимназию я начал учиться по-латыни; учитель для меня отыскался в числе сослуживцев моего отца, очень старенький мелкий чиновник, знавший откуда-то латынь и хорошо учивший. По-немецки, несмотря на разницу лет, я стал учиться вместе с Н. Г. Когда он хотел заняться немецким языком, учитель легко нашелся среди саратовских немецко-колонистов: дети пасторов, более зажиточных колонистов получали в своих школах известное образование; из них выходили, между прочим, учителя музыки, немецкого языка и т. п. Такой учитель музыки бывал у нас в нашем доме; он еще плохо говорил по-русски, желал выучиться (его мечта была быть в университете, и он действительно был потом в университете в Казани), и он стал брать уроки у Г. И., взамен чего предложил учить немецкому языку Н. Г., и эти уроки распространились и на меня¹⁹; в гимназию я поступил отчасти уже подготовленный к немецким урокам. Любознательность Н. Г. была сильная и разнообразная. То, чему он учился, он быстро схватывал и прочно сохранял, в чем помогала ему необыкновенная память. Кажется, очень рано он был хорошим латинистом; мне ясно припоминается он за чтением

старой латинской книги, напечатанной, помнится, в два столбца мелким шрифтом, с которой он расстался, вероятно, тогда, когда прочел ее всю. Впоследствии, когда мне случалось приезжать домой, я видел эту книгу и мог ее определить: это было старое, первых годов семнадцатого столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю ²⁰. Это, видимо, была одна из старых книг его отцовской библиотеки.

Но домашнее учение было наконец сочтено недостаточным. Отец думал направить сына на свое собственное поприще. Это был человек глубоко благочестивый, и, без сомнения, этому поприщу он придавал великое значение. Поэтому той школой, в которую должен был вступить сын, была семинария, за которою дальше предполагалась духовная академия. Питомцы духовных академий бывали уже тогда между профессорами семинарий. Не помню с точностью, сколько времени Н. Г. пробыл в семинарии — года полтора или два, и прошел, вероятно, по-старинному, второй курс «риторики» и первый курс «философии» ²¹. Помню, что из своих наставников он ценил двух, которых считал людьми знающими и мыслящими ²². Был еще третий профессор семинарии, с которым он сблизился и который, если не ошибаюсь, был с Чернышевскими в дальнем родстве. Это был Г. С. Саблуков ²³, впоследствии известный ориенталист и профессор Казанской академии. Саблуков преподавал в семинарии татарский язык. Дело в том, что эта кафедра была учреждена в семинарии в видах предполагаемого распространения христианства между мусульманскими инородцами в губернии (татарское население в сплошном количестве находится в одном из северных уездов губернии — Кузнецком). По-видимому, татарский язык не был обязателен для всех, но Н. Г. Чернышевский ему учился, и, вероятно, довольно успешно ²⁴. В то время епископом Саратовским и Царицынским был довольно известный Иаков (Вечерков), впоследствии архиепископ Нижегородский, которого я хорошо помню. Это был уже старый человек, отличавшийся аскетическим благочестием, вместе с тем ревнитель православия против раскола и любитель археологии ²⁵. При: нем совершались едва ли не первые исследования древней ордынской столицы — Сарая — в прежних пределах Саратовской губернии, за Волгой. Помню пребывание в Саратове известного А. В. Терещенка ²⁶, который бывал и в доме моего дяди. Без сомнения, в связи с этими исследованиями остатков татарского владычества находилась одна работа, которая исполнена была Н. Г. Чернышевским

по поручению или предложению арх. Иакова. Это был довольно подробный обзор топографических названий в Саратовской губернии татарского происхождения. Помню длинный список названий сел, деревень и урочищ, который Н. Г. собирал или проверял по огромной подробной карте, которую приходилось раскладывать на полу; к этому списку Н. Г. прибавлял татарское написание этих названий и перевод на русский язык. Вопрос был действительно интересный. Саратовская губерния (тогда, как упомянуто, к ней принадлежали два завожских уезда) была и есть пересыпана татарскими названиями местностей; только на севере сохранилось в них и татарское население; в огромном большинстве сел и деревень с татарскими именами находится чисто русское население: откуда взялись и как сохранялись татарские названия? Были ли это остатки кочевых урочищ, которые перешли в наследство к знавшему их русскому соседству; или это были названия уже оседлых татарских поселений; произошло ли вытеснение прежних жителей или их обрусение? Не знаю, сохранилась ли эта работа Н. Г. ²⁷ Это была довольно объемистая тетрадь, которая была тогда передана преосвященному Иакову.

Но татарского языка было мало. Н. Г. начинал учиться у Саблукова по-арабски; наконец, интересен был персидский язык, и так как учиться ему было не у кого, то придумано было следующее средство. В середине лета Саратов оживлялся проездом довольно многочисленных; персидских купцов на нижегородскую ярмарку. Наш дом приходился на той улице, в которую вступала астраханская дорога; пароходство еще не существовало, и персидские купцы скакали, бывало, компаниями на почтовых тройках по нашей улице. В Саратове они делали обыкновенно остановку и некоторое время торговали своими товарами (это были особенно шелковые товары: канаус, мовь и др.). Так как из году в год приезжали все те же хозяева, то между ними бывали знакомые; они бывали и у нас в доме, и Н. Г. пользовался их приездами (тем же путем возвращались они после ярмарки), чтобы брать, у них свои уроки персидского языка: они учили его писать и читать, но преподаватели они были, конечно, плохие... ²⁸ В семинарии в те времена еще не окончилось господство латинского языка, и по-латыни не только писались «задачи» по риторике и философии, но, кажется, некоторые предметы (на высших курсах) преподавались на латинском языке. Впоследствии, когда Н. Г. был уже в университете в Петербурге, он, чтобы укрепить и

меня в латыни, иногда писал мне письма на латинском языке. Эти письма, к сожалению, не сохранились; но помню, что между прочим он писал мне о своем историческом чтении (которое и мне рекомендовал), например, о Раумере ²⁹; на латинском языке он тогда уже, во второй половине сороковых годов, давал мне понятие о крестьянском вопросе (*glebae adscripti et terrae firmi* ³⁰): здесь я в первый раз узнал о существовании этого вопроса.

Учение в семинарии, однако, не удовлетворяло Чернышевского. Его научные интересы шли дальше этих точек зрения, а вероятно, и вопросы общественные. Среди своих товарищей в семинарии он, помнится, находил только очень немногих, двух-трех, с которыми бывало у него общее понимание; но бывали у него другие сверстники, с которыми он любил проводить время в долгих прогулках и долгих разговорах. Это были молодые люди из того помещичьего круга, с которым бывал знаком его отец, молодые люди с известным светским образованием, между прочим университетским ³¹. Большая разница лет делала для меня чуждым это товарищество, но, судя по более поздним воспоминаниям, в этих беседах затрогивались именно темы идеалистические и первые темы общественные...

Итак, для Н. Г. вопрос об университете был решен. Отец его, вероятно, понимал преимущества университетского образования, но, сколько мне помнится, должен был, очевидно, несколько переломить себя, когда уступал желаниям сына. Задолго началось обдумывание поездки. Предполагался Петербургский университет, между прочим, кажется, потому, что там уже был один наш земляк и дальний родственник Чернышевских, А. Ф. Раев ³², сын сельского священника, молодой человек, очень практический, конечно, без всяких собственных средств, но сумевший удачно устроиться в Петербурге *. В нашем ближайшем кругу не было человека, имевшего какое-нибудь понятие о Петербурге. Это была неведомая, отдаленная страна, пребывание всех властей, с особенными нравами и великими житейскими трудностями, особенно для людей с очень небольшими средствами, без знакомств и связей; из Петербурга наезжали изредка важные административные лица, и это, бывало, производило сильное впечатление, и разговоры о них велись и в тех кругах, которые не имели к ним ни малейшего отношения. <...>

* Он умер летом 1901 г. членом совета министерства финансов.

Наконец, Петербург был город очень далекий: железных дорог не существовало; ехать на почтовых надо было целую неделю (если ехать без всякого отдыха) и считалось дорого; поэтому обдумывался план путешествия «на долгих». Для этого служили особые предприниматели-ямщики, которые брались везти на своих лошадях, конечно, с необходимыми остановками для кормления лошадей и ночлега; эти поездки, очевидно, были дольше, но были дешевле «почтовых». Такой предприниматель был подыскан: он брался везти не только до Москвы, но и дальше, по «шосту» (шоссе, о котором знал или слышал, как о хорошей дороге), до самого Петербурга. Помнится, внешний вид предпринимателя внушал некоторые сомнения — и действительно, он оказался пьяным человеком, несмотря на все обещания, и в Москве путешественники должны были отказаться от его услуг. У меня осталось воспоминание об этом отъезде Н. Г., как об очень важном событии в глазах не только моих, но и всех старших. Само собою разумеется, что Н. Г. не решились отпустить одного: с ним поехала его мать и одна старинная наша знакомка средних лет, жившая в одном из наших домиков на квартире ³³. Путь из Саратова в Москву шел обыкновенно на Пензу или на Тамбов; в этот раз он был взят на Воронеж, так как по дороге желали поклониться мощам св. Митрофания **. С некоторыми приключениями путешественники благополучно добрались до Петербурга; мать Н. Г. прожила там некоторое время и потом вместе с своей спутницей возвратилась домой. Я припоминаю ее рассказы, довольно характерные: в Москве и Петербурге было, конечно, много удивительного, но обычный склад домашней жизни, с хозяйственной точки зрения, моей тете крайне не нравился; она не могла преодолеть и позабыть хоть на время своей привычки к добропорядочной домовитости провинциальной жизни, хотя и скромной, — когда в доме (они занимали квартиру в частном семействе) нельзя было иметь даже своего хлеба, когда за всякой хозяйственной мелочью надо было посылать в мелочную лавочку, когда при доме не было никакого двора (а при нашем доме было два больших двора и еще небольшой садик), где не знаешь даже, кто подле вас живет, кем вы окружены и т. д...

** Это путешествие было довольно точно рассказано покойным теперь Духовниковым в «Русской старине», который предпринял написать биографию Н. Г. Ч., прилежно собирал отовсюду сведения, но, к сожалению, не кончил своей работы ³⁴.

Н. Г. хотя не проходил собственно гимназического курса, какой требовался для вступительного экзамена, но при своих больших для юноши знаниях поступил в университет без малейших препятствий³⁵ и, кажется, скоро обратил на себя внимание своими сведениями и талантливостью. Обстановка историко-филологического факультета, в который он вступил, была, за немногими изменениями, та самая, какую я нашел в Петербургском университете, когда поступил в него несколько лет спустя. Переменились только немногие, притом второстепенные лица. Из главных профессоров я не застал только П. А. Плетнева, который к моему времени был уже ректором и прекратил чтение лекций. Затем, главные профессора были те же. Вообще говоря, научный уровень не был особенно высок; но в тех условиях, в каких находилась русская наука, а также и литература, университет, несомненно, приносил свою пользу, т. е. расширял горизонт сведений и возбуждал собственную деятельность. Позднее я слушал тех же профессоров и помню сочувственные отзывы Н. Г. о тех из них, которые и в мое время были наиболее полезны студентам своими лекциями. Таков был, например, М. С. Куторга³⁶: при некоторых недостатках характера, которые, вероятно, помешали ему иметь более широкое влияние на своих слушателей, это был человек, прошедший ученую немецкую школу в Дерпте и за границей в Германии, усвоивший немалые знания и особенно приемы исторической критики, которые он и старался внушать своим слушателям. Любимой темой его лекций и поучений была древняя греческая история, но он читал и цельные курсы по новейшей истории, и одною из очень полезных особенностей его чтений бывало старание знакомить слушателей с литературой предмета, хотя бы только с ее главнейшими явлениями. Для его слушателей, приходивших с очень скудными гимназическими познаниями, эти его чтения бывали не только интересны, но и очень полезны. Не менее, а иногда и более влияния оказывали лекции Срезневского³⁷. Во второй половине сороковых годов он только что перешел на петербургскую кафедру славянских наречий из Харькова. Это была самая живая пора его славянских увлечений. В его изложении историческом или филологическом находили место эпизоды из его собственных наблюдений за время его странствований по славянским землям. В то время это был едва ли не главный его научный интерес, которому он отдавался со всей живостью своего характера; не мудрено, что его лекции были очень привлекатель-

ны для всех, у кого была сколько-нибудь пробуждена любознательность к славянскому миру. Деятельность Срезневского была особенно оживлена тогда еще одним обстоятельством. Вскоре по переезде в Петербург он вступил во Второе отделение Академии наук. Отделение, только за несколько лет перед тем образованное из бывшей Российской академии, в течение сороковых годов еще носило на себе сильный отпечаток этого старинного учреждения,

До вступления Срезневского в Отделение был, собственно говоря, только один ученый-филолог, знаменитый Востоков³⁸, уже древний человек, занятый своими работами одиноко от других членов Отделения, с которыми у него было и мало общего. Срезневский впервые внес известную научную жизнь в это заглохшее учреждение: без сомнения, по его инициативе возникло тогда первое периодическое издание под названием «Известий», в тексте которых его собственные работы составляли наиболее ценную долю и в которых благодаря ему появилось немало сотрудников, в особенности по различным вопросам словаря русского языка. Между прочим, он старался привлечь к работе и своих слушателей, на которых больше полагался: так произошла работа Н. Г. по словарю одной из старейших русских летописей...³⁹ Профессорами классических языков были, по старому обычаю, выписные немцы: греческого языка — Грефе⁴⁰, латинского — Фрейтаг⁴¹, оба в своем роде типические немецкие профессора старой манеры. Грефе (в мое время уже древний человек), учивший некогда греческому языку гр. Уварова⁴², был ревностно предан своему ученому делу. Фрейтаг, кажется, несколько помоложе, был старомодный филолог, отличавшийся от Грефе тем, что, когда последний был уже заинтересован новейшими открытиями сравнительного языкознания, Фрейтаг с пренебрежением относился к новой науке, которую считал делом несерьезным, а самым серьезным было для него, кажется, самое детальное изучение текстов, вариантов и грамматики. Оба классика (между прочим, вероятно, плохо зная по-русски, хотя жили в России уже десятки лет) говорили со своими слушателями не иначе, как по-латыни; я упоминал, что И. Г., еще живя дома, читал Цицерона, что называется, а *livre ouvert*⁴³, — не мудрено, что он стал у Фрейтага одним из первых, если не первым латинистом. Главным занятием студентов по латинскому языку было чтение более трудных классиков с комментариями и очередное представление сочинений на латинском языке: профессор их

читал, где нужно, исправлял ошибки и полагал свой приговор. Фрейтаг привык, что Н. Г. писал хорошие сочинения. Однажды Н. Г. вздумал сделать с профессором шутку, в сущности, довольно рискованную. Он занимался в то время работами для Срезневского и бывал в Румянцевском музее (который был тогда еще в Петербурге в старинном доме Румянцева, на Английской набережной); однажды, когда пришла его очередь, он подал Фрейтагу сочинение, назвав его переводом из одной древнеславянской рукописи Румянцевского музея. Мнимый перевод был просто выпиской из Цицерона «De officiis»⁴⁴. Профессор не узнал римского писателя; сочинение похвалил, но нашел, что стиль не везде отвечает золотому веку, и кое-что поправил. Мистификация сошла благополучно — и показывает, какого достоинства бывала обыкновенная латынь Н. Г.

<...> Я кончил курс гимназии в 1849 г. Перед этим шли уже постоянные сношения с Н. Г., и из них оказалось, что поступить в Петербургский университет, по-видимому, будет невозможно: в это самое время вышло распоряжение, определявшее для каждого университета комплект студентов в триста человек (кроме медицинского факультета). В Петербургском университете цифра студентов, конечно, должна была быть выше, и можно было предполагать, что для достижения комплекта в наступающем учебном году вовсе не будет приема. Во всяком случае, дело было неясно, и решено было, что я поеду в Казань. <...>

Вперед предполагалось, что на следующий академический год я перейду в Петербургский университет. На лето я, конечно, отправлялся в Саратов. <...> В это же лето (1850) приехал в Саратов Н. Г., кончивший тогда курс в университете. В конце каникул мы должны были отправиться вместе в Петербург. <...>

В конце лета я с Н. Г. выехал из Саратова. Мы должны были ехать в Казань, чтобы справить там мои документы по переходу в Петербургский университет. Этого пути я не припоминаю; но помню, что, пробыв несколько дней в Казани⁴⁵, мы отправились на пароходе в Нижний. Это был разгар ярмарки. На пароходе была пестрая, разноплеменная публика, ехавшая в Нижний, между прочим, какие-то индийцы, державшиеся особняком, сами готовившие себе свою пищу. В Нижнем мы пробыли недолго, потому что надо было торопиться. Здесь помнится мне одно знакомство с жившим тогда в Нижнем М. Л. Михайловым. Н. Г. знал его в Петербурге по университету, где он был вольнослушателем <...>.

Разговоры шли литературные, он был довольно хорошо знаком с немецкой литературой и был, вероятно, нашим лучшим переводчиком Гейне ⁴⁶. <...>

Из Нижнего мы двинулись в Москву. По древнему обычаю (отчасти способствовавшему и бережливости, потому что денег было мало), мы остановились дня на два у К-ва ⁴⁷, старого знакомого семейства Чернышевских; это было, сколько я помню, на Пречистенке. В Москве на этот раз я, главным образом, видел только Кремль. Остановка в Москве была необходима, между прочим, для того, чтобы обеспечить дальнейшее путешествие. Средством передвижения мы могли взять почтовый дилижанс. Движение, конечно, было сильное; надо было запастись билетами заранее, причем надо было прежде получения билета и взноса денег предъявлять и паспорта. К назначенному часу в большую залу собирались пассажиры с своим багажом; на большом дворе почтамта выстраивалось несколько дилижансов: багаж складывался на верхи и происходило распределение пассажиров. Дилижансы весьма внушительных размеров имели форму карет, ходящих по Невскому проспекту, с лесенкой позади экипажа; спереди была колясочка, где находились «наружные места»; одно было отделено для кондуктора, два было предоставлено пассажирам. Такие места мы и заняли; в сущности, это были лучшие места, без большого количества соседей, на воздухе, а не в закрытой коробке, — правда, больше были открыты солнцу и пыли, но зато и с открытым пейзажем; эти места считались, однако, «вторыми» и были дешевле, между прочим, вероятно, потому, что взбираться на них было не весьма удобно — через передние колеса. Не помню, утром или вечером, или днем мы выехали с почтамтского двора (сохранившего и поныне свой прежний вид). Путешествие до Петербурга продолжалось двое суток, с остановками для перемены лошадей, для чая и обеда. Дело было летом, и путешествие было для меня чрезвычайно интересно. Дорога шла не по необитаемым почти пустыням, как теперь по железной дороге, а по старым, населенным пунктам московского шоссе. Это была вообще довольно оживленная картина деревень, сел и городов; мы могли, например, видеть и Тверь, и Новгород. Затем время проходило в разговоре и, главное, — в рассказах Н. Г. о Петербургском университете, где он только что кончил курс и куда я должен был вступать. Само собою разумеется, что это было для меня чрезвычайно интересно: я имел вперед характеристики профессоров, которых мне предстояло

слушать, описание существующих университетских обычаев и т. п. Н. Г. владел уже тогда большой начитанностью и, кроме того, огромною памятью. Из профессоров он особенно высоко ставил Срезневского, и под влиянием его оживленных тогда лекций, которых и я вскоре стал слушателем, у Н. Г. был значительный интерес к тому, что называлось тогда «славянскими наречиями». Мои собственные сведения в славянщине, по указанной выше причине, были еще невелики и немного смутны, и я в дилижансе с большим любопытством слушал отрывки из Мицкевича с необходимыми объяснениями или отрывки, опять наизусть ⁴⁸, из Краледворской рукописи и «Любушина Суда» ⁴⁹, о которых пока только слышал. Рассказы прерывались шутками и шалостями.

В Петербурге мы также приехали в почтамт. Я поселился в нашей петербургской семье. Н. Г. жил уже раньше вместе с И. Г. Терсинским, за которым была моя сестра от первого брака моей матери. Сестра по девической фамилии была Котляревская ⁵⁰; из дома была привезена и прислуга воронежского происхождения, мне с детства знакомая, как вторая няня, оригинальная, добрая женщина, поражавшая меня теперь мастерством своей русской речи; некогда она увлекала нас своими особенными сказками; теперь я с удовольствием слушал ее живой, меткий язык, ко всякому случаю уснащенный всегда готовыми пословицами, поговорками и т. п. Моя сестра была очень болезненна, и на другой год она умерла. Это была любимая подруга детства Н. Г. <...>.

Когда я приехал в Петербург с Н. Г., он был подписчиком богатой библиотеки для чтения, и после его отъезда из Петербурга я продолжал пользоваться этой библиотекой. Это была знаменитая библиотека Смирдина, находившаяся тогда во владении Крашенинникова ⁵¹, перешедшая впоследствии в другие руки и, наконец, разрушенная: весь старый отдел ее был продан, как хлам, когда в действительности это было редкое собрание, которое могло тогда соперничать с русским отделом Публичной библиотеки. <...>

Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков — тип, с тех пор исчезнувший (он становился не нужен). Эти букинисты, с огромным холщовым мешком за плечами, ходили по квартирам известных пм любителей подобной литературы (через которых находили и других любителей) и, придя в дом, развязывали свой мешок и выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие. Книги они продавали на довольно льготных условиях, например,

с рассрочкой; когда книга была прочитана и владелец не желал удерживать ее, букинист покупал ее обратно, конечно, по пониженной цене, — другими словами, букинист за известную плату давал книгу на прочтение. Сделка совершалась на взаимном доверии, — и доверие было большое. Один такой букинист прихаживал и к нам; книги были иностранные, но букинист в них разбирался и с особым акцентом, конечно, очень забавным, называл имена авторов и французские или немецкие названия книг. Кажется, независимо от этих негоциантов, Н. Г. мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха⁵², как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах. Тогда я в первый раз познакомился с его сочинениями: эта сильная и решительная логика казалась мне гораздо более привлекательной, чем фантастика французских социалистов.

Н. Г. прожил тогда в Петербурге недолго⁵³. <...> Через него я успел познакомиться с некоторыми из его прежних знакомых. Одним из них был довольно известный впоследствии М. Л. Михайлов. <...> Кружок людей отчасти с педагогическими, а главное с литературными интересами, я встретил у очень известного тогда Введенского, Иринарха Ивановича. Один из наиболее выдающихся педагогов в области военно-учебных заведений, которого очень ценил Як. И. Ростовцев⁵⁴, управлявший тогда этими заведениями (он дал Введенскому особое положение, назначив его, по-тогдашнему, «наставником-наблюдателем», т. е. руководителем и инспектором преподавания по русскому языку и словесности), Введенский был очень известен и в литературных кругах, как замечательный переводчик Диккенса. Впоследствии, долго спустя, говорили, что переводы Введенского не отличались большой точностью, — другими словами, он за мелочной точностью не гнался, но живой рассказ Диккенса он умел передавать живым рассказом русским, и это, конечно, было немалым достоинством и прямо свидетельствовало о его литературном даровании. С Введенским познакомил меня Н. Г., знавший его раньше отчасти, как земляка, — и я потом почти не пропускал его пятниц, на которых всегда собирался кружок преподавателей и литераторов⁵⁵. <...>

По окончании своего курса в университете Н. Г. пробыл около года, кажется, в Петербурге, потом уехал в Саратов, где взял место учителя гимназии, — для того, конечно, чтобы доставить удовольствие своим родителям. В Саратове он пробыл года два. Там он стал заметным лицом в небольшом кружке образованных людей и, между прочим, особенно сблизился с Костомаровым⁵⁶. Они видались

постоянно; это были люди одинакового научного уровня, что в провинции нелегко было встретить; Н. Г. мог вполне оценить начатые тогда работы Костомарова, которые вскоре потом явились в печати — «Хмельницкий» в «Отечественных записках» и «Очерк жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» в «Современнике». Чернышевский очень высоко ставил труды Костомарова и сравнивал их с произведениями знаменитого Тьерри⁵⁷. По характерам они не очень сходились; у Костомарова бывали странности, бывало, например, соединение вкусов мистических и рядом скептического реализма; бывали капризы и немалые угловатости характера (иногда очень резкие), которые Чернышевскому нравиться не могли; последние он, вероятно, приписывал известному нервному возбуждению... В гимназии, как преподаватель русской словесности, Ч-ий чрезвычайно привлек к себе своих учеников именно старших классов. Он объяснял им значение литературы; богатая память давала ему возможность иллюстрировать преподавание интересными отрывками русской поэзии. Некоторые из его учеников, кончив курс, поступили в педагогический институт в Петербурге и явились к нему, когда и сам он, после женитьбы в Саратове, переселился в Петербург и окончательно отдался литературе. Эти старые ученики-земляки приходили к нему по воскресеньям⁵⁸, когда были отпускаемы из института, и приводили с собой товарищей, которым успели передать свои большие симпатии к прежнему учителю, у которого образовывалось уже и литературное имя. Собирался небольшой кружок, где беседа в конце концов становилась рассказами Ч-го по русской истории и литературе. Для молодых людей это было желанное дополнение к их курсу литературы, где, по старому обычаю, о новом времени совсем не говорилось, и если случайно поминалось имя Белинского, то, вероятно, с строгим осуждением. Здесь, напротив, раскрывалась перед ними именно новейшая судьба литературы, переходившая в ее настоящее. Понятно, что те мысли, которые Чернышевский развивал в своих статьях в «Современнике», здесь подтверждались наглядными фактами. Этот кружок молодых людей, без сомнения, и основал большую популярность Чернышевского в кружках молодежи, которая с великим интересом перечитывала его статьи.

